

ПРЕДВАРЯ

«Здесь в 1826—1832 годах А. С. Пушкин бывал у поэта П. А. Вяземского. Читая эту надпись на красном граните с бронзовым пушкинским барельефом, я вспомнил, как полтора десятилетия тому назад известный литературовед и исторический романист готов был приписать Пушкину хрестоматийные стихи Вяземского. Ошибка, конечно, открылась, но далеко не сразу, лет через десять, так что книга с ошибкой успела выйти еще одним изданием.

Вот ведь как: по стихам мы не всегда в состоянии отличить Вяземского от Пушкина, но зато твердо знаем, что мемориальная доска достоин не тот дом, где жил Вяземский, а тот, где бывал у него Пушкин».

Впрочем, для Вяземскому заметное место в литературе первой трети XIX века — вторичный исследователь заметил, что «по своей художественной цели его творческое наследие не может сравниться с наследием таких его современников, как Жуковский, Баратынский». Но если не Вяземский, то уж они, без со-

мнения, заслуживают «памяти, высеченной в камне» (воспользуясь названием только что переизданной книги о мемориальных досках Москвы)? Как бы не так! Баратынский, например, жил в Москве на той же улице, что и Вяземский (ныне ул. Станкевича), наискосок от него, но об этом ничто не напоминает. Год назад в «ЛГ» (№ 4, 1983) высказывалось сожаление в связи с тем, что в Москве нет ни одной мемориальной доски, посвященной Жуковскому, нет ее и сегодня.

Как тут не согласиться с С. Зальгиним, который с горечью писал в «ЛГ» (№ 33, 1975): «...Понимаю, что классика не состоит из одного десятка имен, мы формально причисляем к ней многих и многих, а помним единицы».

...Несколько лет изо дня в день по дороге на работу и с работы я проходил мимо дома на Цветном бульваре,



СТРАНИЦУ

в котором большую часть своей жизни прожил Валерий Брюсов. И постепенно для меня возвращалось в этот дом его прошлое. Гулкая чугунная лестница вела на второй этаж, в кабинет поэта, заваленный книгами... Вспоминался разговор Брюсова с Горьким.

— Можете ли вы прожить 20 лет среди книг и только книг?

— Нет, что вы, — отвечал Горький. — Этого нельзя. Я не могу.

— Да и я не могу, а вот прожил же.

Не удивительно, что даже сонет о женщине Брюсов начал словами: Ты — женщина, ты — книга между книг...

По вечерам перед цирком, на другой стороне бульвара, зажигался большой, как луна, фонарь. И в купеческом зале с полукруглыми кафельными печами и старыми фикусами оживали знакомые строки:

Тень несозданных созданий
Нолыхается во сне,
Словно лопасти латаний
На эмалевой стене.

Я перебирал в памяти людей, бывавших в этом доме, — от гимназических друзей Брюсова до Бальмонта, Белого, Бунина... Наслаждался пространным рассказом деда Брюсова о том, как в молодости в Петербурге он ходил с приятелем к книжной лавке Смирдина «смотреть Пушкина», как, увидев его издали после двух дней дежурства, бросились они опрометью домой — разговаривать о нем... Невольно втягивался в спор Брюсова с Буниным: «Мы мало наблюдаем город, мы в нем только живем и почему-то называем природу только дорожки в саду, словно не рода камни тротуаров, узкие дали и светлое небо с очертаниями крыш».

Сколько же мы терпим, ограничив себя лишь избранными именами, ставяая внимание даже Батюк, даже Баратынского, даже Жуковского.

В. РАДЗИШЕВСКИЙ, архивариус «ЛГ»

ПУБЛИКУЕТСЯ ВПЕРВЫЕ

А. М. ГОРЬКИЙ: «...Я НЕ ЗНАЮ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ЧЕЛОВЕКА БОЛЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОГО, ЧЕМ ВЫ»

В. Я. БРЮСОВ — В. М. ФРИЧЕ
<Июнь—июль 1895 г.>

«...Живу в области эпопей — мире Ваших знаний. С одной сестрой читаю Вергилия, с другой, которая, на свое несчастье, знает немного итальянского языка, — Тассо, сам перевожу «Энеиду» и пишу «Атлантиду». Приятно, знаете, работать над большой поэмой, как-то становишься причастным тому же Тассо, Камюэнсу и другим, в свое время великим, а ныне не читаемым, начинаешь глубже проникать в их лабораторию. Теперь я убедился, что писать эпопеи совсем не то, что писать лирические стихи (не правда ли, можно было поверить этому и раньше), и я уже не стану упрекать Вергилия за то, что он сначала написал «Энеиду» прозой — почти за то же приходится братья самому. Но этого мало. Сюжет есть, но как его распределить? Как связать отдельные сцены, которых не может быть столько, как в романе, в которых не может быть длинных диалогов, где нужны многочисленные описания природы и отступления? Как не надоесть читателю, как достаточно распутать все узлы и «всем великому дать великое исполнение» (ложноклассическое правило) — много есть и других «нескладниц». Но постоите. А формал! Когда в голове вертится лирическое стихотворение, форма приходит сама, но что делать теперь? Согласитесь, что пользоваться чужим размером не хочется — да и неудобно это, не писать же «Атлантиду» октавами или терцинами. Подумывал я взять размер «Нибелунгов», подумывал писать на провансальский лад с десятком одинаковых рифм — все было плохо. Не удался и белый пятистопный стих, не удался и шестистопный ямб греческих трагедий. Последнее, на чем я остановился, был четырехстопный амфибрахий, например:

И царь меж царями,
Богиня Ликеев,
Священный жезлом
даши знак замолчать,
Бросает соборно
крылатые речи...

Но здесь пришла мне чудная мысль! Рифмованный гекзаметр! О счастье! я спасен!

Муза в измятом венке,
богиня,
забытая миром!
Я один из немногих,
кто верит
прежним гимнам,
В храме оставленном
еще несканзанная
прелесть и ныне
Я умилению молосю
пред оставленной
всем святыней.

Зачастую мне бывает обидно, что я так строго отношусь к написанному. Почти со слезами я зачеркиваю только что созданную главу (из романа «Декаденты») и бросаю на кровать — ослепленный и потевающий всякую энергию. Казалось бы, глава не хуже десятков глав в романах разных гг. Писемских, Бобарыкиных, Баранцевичей — чего же еще. «Что же ты прощешь, дитя маловерное!» Много!

Я бросаю поэму, пишу один роман, он не уда-

ся, пишу другой, перевожу, пишу исследование — нет! трудно быть поэтом, если нет впечатлений...

Как ни ужасна Москва летом, но в «на даче» еще ужаснее. Завтра уезжаю, может, на неделю, а может, и вовсе до зимы в Москву к журналам, к «фантазиям» и к людям.

Фриче Владимир Максимович (1870—1929) — товарищ Брюсова по университету, впоследствии известный литературовед и искусствовед.

Е. И. ПАВЛОВСКОИ
<1896 г.>

Слушай, чем я теперь занят.

Я пишу «шекспировскую» трагедию «Марк Антоний» (написал пять сцен), я пишу «Историю русской лирики» (теперь занят разбором стиха у Ломоносова и его современников), перевожу гекзаметром «Энеиду» (теперь занят 2-й книгой), пишу повесть «Медиум» (написал 3 главы), пишу «Рассказы Ужасов» (написал пока один), пишу статью о Любви (отзвук моей жизни за последнее время), пишу заметку о современных французских поэтах (начал летом), конечно переписывать тогда же начатую заметку о современных русских поэтах (Мережковский, Минский, Брюсов, Бальмонт и Добролюбов), изучаю древний оккультизм для моей книги (если мне суждено будет ее написать) о «Гениях» (в лейбницевском смысле), пишу характеристику Нерона (с совершенно новой точкой зрения; я говорил тебе об ней), затем изучаю историю диалогов² и не покидаю универсальных занятий — т. е. Ливия, Локка, Нестора.

...Я так привык к миру начатым работ, из которых ³будут конченны, что мне было бы бесконечно тяжело заняться чем-нибудь одним. Устал я переводить — бросаю Вергилия, забываю о нем и пишу свою трагедию, потом меня зовут обещать, я возвращаюсь к критике французских поэтов — но когда вернется прежнее мое настроение, мне ничего не будет стоить развернуть прежнее рукопись и продолжить начатое с полуслова, я опять становлюсь тем собой, который писал предыдущие строки день, неделю, месяц тому назад. Разве я скажу, что я люблю свой перевод «Энеиды» больше, чем своего Нерона или чем свою Повесть? Никогда — но я не могу писать только трагедию, писать ее месяц, а потом... думать о другом. Пусть создается образ круговорота — я в нем буду чувствовать себя много спокойней, чем герой Эдгара По в Мальстреме⁴.

¹ Павловская Евгения Ильинична (ум. в 1897 г.) — друг Брюсова, непопулярная в доме его родителей.

² Диалог — полноводцы Александра Македонского, борющиеся за власть после его смерти.

³ Имеется в виду рассказ «Низвержение в Малаккестро».

⁴ К. Д. БАЛЬМОНТУ
11 августа 1897 г.

Прсчел изложение Ваших лекций в «Северном

Из писем Валерия БРЮСОВА

Валерий Брюсов — поэт, прозаик, переводчик, критик, историк литературы — широко известен советским читателем. За последнее десятилетие вышло 7-томное собрание его сочинений, несколько сборников стихов, книга повестей и рассказов, переиздание антологии «Поэзия Армении» с древнейших времен до наших дней¹, томины статей о русской поэзии и переводах, избранные произведения для детей.

Однако еще недостаточно полно опубликована обширная переписка Брюсова. Собранные в архивах, многие его письма доступны лишь узкому кругу исследователей. Между тем эти письма служат важным источником для характеристики личности поэта, его творческого пути, его участия в литературном движении эпохи.

Письма показывают бесграничную увлеченность Брюсова творческим трудом, энциклопедическое разнообразие его интересов, упорство в работе над словом, образом, стихом, исключительную требовательность к себе. Вспоминаются слова А. М. Горького, обращенные к поэту: «...Я не знаю в русской литературе человека более деятельного, чем Вы. Превосходный Вы работник!».

В 1976 г. вышел «Брюсовский» том «Литературного наследия», в котором представлены литературно-художественные, мемуарные и лишь отчасти эпистолярные материалы. Теперь редакция «Литературного наследия» готовит специальный том переписки поэта, главным образом с деятелями литературы юнца XIX — начала XX века.

Тексты писем, которые мы предлагаем сегодня читателям, взяты из публикации К. Азаровского, С. Гиндина, Л. Кувановой, А. Лаврова, Е. Литвин, О. Усиковой. Некоторые фрагменты писем извлечены из черновых тетрадей Брюсова.

Н. А. ТРИФОНОВ, редактор тома,
доктор филологических наук

М. А. ВОЛОШИНУ
<После 2 февраля 1907 г.>

Простите, что не пишу: болен (инфлюэнца с плевритом). Слабею за вести о себе. Читал Вашу статью о «Бранде». Однако опасно разговаривать с людьми, пишущими в газетах фельетоны! Отмщу Вам тем, что некоторые Ваши слова с точностью воспроизведу в своем романе, вложив их в уста мистика XVI века². Стихи Бальмонта в «Русской Мысли» мне вовсе не нравятся. Банальнейшие сюжеты и трафаретная мелодия. Сносны только отдельные строки. Надо думать, что душа моя, идя по своему пути, удаляется от пути Бальмонта под каким-то большим углом. С каждым годом все, что он пишет, мне становится все более и более чуждым, почти всегда неинтересным, а подчас смешным...

Совсем не нравится мне характеристика А. Толстого...

Я бы не пропустил Огарева. Если бы Вы вспомнили об нем, Баратынский не остался бы у Вас таким лишним и одиноким. Неужели Вы не оценили Огарева, его стихи, сработанные из стали, а с виду столь небрежные!

Из стихотворения А. Полежаева «Вечерняя заря».

М. В. САМИГИНУ
Июль 1900. Ревель.

...Я осенью печатаю сборник стихов³, потом может быть, повесть, потом перевод «Энеиды» (отрывок), потом «Книгу размышлений». Это все почти «готовое» к печати. Сборник стихов уже пришел ко мне из цензуры. Это мои лучшие вещи, может быть, то лучшее, что я могу писать в стихах... Цензура, конечно, обошлась жестоко...

«Так, полдень мой настал...» — слова Пушкина⁴. Чувствую и сознаю свои силы...

Имеется в виду статья Волошина «О театре». Разговор после представления «Бранда» (Г. Ибсена) в Московском Художественном театре («Русь», 2 февраля 1907 г.). Видимо, Волошин воспроизвел в ней часть высказывания Брюсова.

² Роман «Огненный ангел».

П. Е. ЩЕГОЛЕВУ
12 марта 1911 г.

Простите, что всегда опаздываю со своими ответами: я завален работой по «Русской Мысли». Но я уже писал Вам, благодаря за присылку Ваших «Разысканий»², и сообщал, что А. Белый сейчас путешествует по Африке, так что книгу ему придется передать лишь по возвращении. «Разыскания» Ваши очень интересны, очень серьезно обставлены, но — простите — все же спорны. В издании Пуш-

кина, которое я сейчас готовлю (для книгоиздательства «Деятели»), буду говорить о Вашей гипотезе³. Но как важно и радостно, что изучение Пушкина, наконец, стало на научную почву, что от обрещенных фраз совершился переход к собиранию текстов и серьезному сопоставлению данных! Примет ли будущее или нет Ваши выводы, оно всегда будет благодарно за Ваши доводы и за самый метод работы. Желаю Вам всего хорошего и прежде всего доброго здоровья и охоты работать.

Щеголев Павел Елисеевич (1877—1931) — историк литературовед.

² Из разысканий в области биографии и текста Пушкина (1911).

³ Основываясь на черновиках «Посвящения» к поэме «Полтава». Щеголев выдвинул гипотезу о том, что «утвенной любовью» Пушкина была М. Н. Раевская. Издание Пушкина в книгоиздательстве «Деятели» не состоялось.

А. Н. ТИХОНОВУ
<Июнь—июль 1917 г.>

Как-то жутко писать о своих малых делах в дни, какие мы переживаем. Знаю, кроме того, сколько у Вас беспокойств с газетой. Все кругом — так непрочно, что трудно даже что-либо предлагать и спрашивать. С другой стороны, недолима привычка к работе побуждает меня по-прежнему, за исключением времени, отдаваемого Комитету², все часы проводить за письменным столом, а этот письменный стол последние месяцы связан исключительно с Вашими изданиями, с «Парусом», «Летописью» и «Новой жизнью». Поэтому все же должен писать Вам, освещая обо всем, что мною сделано и что я желал бы сделать...

Три года назад я условился с «Русской Мыслью», что с января 1915 г. в «Русской Мысли» начнется печатанием мой роман «Юпитер Падарженный». Этот роман считался продолжением повести «Алтарь Победы»,

но по существу совершенно самостоятелен. Связь между 2-мя романами тесная — общая историческая эпоха. Впрочем, действующие лица, даже манера письма, — все другое. Война изменила решение, и П. В. Струве³ известил меня, что при данных обстоятельствах не может печатать роман из древнеримской жизни. Я бросил свою рукопись в стол и вскоре уехал на фронт корреспондентом «Русских Ведомостей».

Недавно я достал эту свою рукопись и перечел ее. Роман написан почти весь... Сколько могу судить, роман занимателен, во всяком случае гораздо «занимательнее», нежели «Алтарь Победы», ибо события больше, они важнее, а главное — роман написан гораздо проще, без мелочных исторических подробностей, не длинными периодами, а короткими предложениями и т. под. Кроме того, роман неожиданно приобрел злободневный интерес, ибо взят из эпохи последней народной революции в Риме. Это обстоятельство, конечно, не имело в виду, когда роман писался, но теперь, давая ему последнюю отделку, я намерен эту сторону повествования подчеркнуть и провести некоторые интересные параллели с современностью.

Все это я пишу по следящей причине. Я считаю себя нравственно связанным с Вашим издательством и не хочу такою крупное произведение предлагать кому-либо, не предложив сначала Вам...

Тихонов (Серебров) Александр Николаевич (1880—1956) — литературно-издательский деятель, ближайший сотрудник А. М. Горького по издательству «Парус», по редактированию сборника пролетарских писателей, журнала «Летопись», газеты «Новая жизнь».

² После февральской революции Брюсов был назначен председателем Комитета по регистрации произведений печати.

³ П. В. Струве был редактором журнала «Русская мысль».

В. Я. БРЮСОВ.
Рисунок Б. К. РЕРИХА. 29 июля 1903 г.

В. Я. БРЮСОВ — В. М. ФРИЧЕ
<Июнь—июль 1895 г.>

«...Живу в области эпопей — мире Ваших знаний. С одной сестрой читаю Вергилия, с другой, которая, на свое несчастье, знает немного итальянского языка, — Тассо, сам перевожу «Энеиду» и пишу «Атлантиду». Приятно, знаете, работать над большой поэмой, как-то становишься причастным тому же Тассо, Камюэнсу и другим, в свое время великим, а ныне не читаемым, начинаешь глубже проникать в их лабораторию. Теперь я убедился, что писать эпопеи совсем не то, что писать лирические стихи (не правда ли, можно было поверить этому и раньше), и я уже не стану упрекать Вергилия за то, что он сначала написал «Энеиду» прозой — почти за то же приходится братья самому. Но этого мало. Сюжет есть, но как его распределить? Как связать отдельные сцены, которых не может быть столько, как в романе, в которых не может быть длинных диалогов, где нужны многочисленные описания природы и отступления? Как не надоесть читателю, как достаточно распутать все узлы и «всем великому дать великое исполнение» (ложноклассическое правило) — много есть и других «нескладниц». Но постоите. А формал! Когда в голове вертится лирическое стихотворение, форма приходит сама, но что делать теперь? Согласитесь, что пользоваться чужим размером не хочется — да и неудобно это, не писать же «Атлантиду» октавами или терцинами. Подумывал я взять размер «Нибелунгов», подумывал писать на провансальский лад с десятком одинаковых рифм — все было плохо. Не удался и белый пятистопный стих, не удался и шестистопный ямб греческих трагедий. Последнее, на чем я остановился, был четырехстопный амфибрахий, например:

И царь меж царями,
Богиня Ликеев,
Священный жезлом
даши знак замолчать,
Бросает соборно
крылатые речи...

Но здесь пришла мне чудная мысль! Рифмованный гекзаметр! О счастье! я спасен!

Муза в измятом венке,
богиня,
забытая миром!
Я один из немногих,
кто верит
прежним гимнам,
В храме оставленном
еще несканзанная
прелесть и ныне
Я умилению молосю
пред оставленной
всем святыней.

Зачастую мне бывает обидно, что я так строго отношусь к написанному. Почти со слезами я зачеркиваю только что созданную главу (из романа «Декаденты») и бросаю на кровать — ослепленный и потевающий всякую энергию. Казалось бы, глава не хуже десятков глав в романах разных гг. Писемских, Бобарыкиных, Баранцевичей — чего же еще. «Что же ты прощешь, дитя маловерное!» Много!

Я бросаю поэму, пишу один роман, он не уда-